

СЛОВО О ТОЛСТОМ

РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ Л. М. ЛЕОНОВЫМ 19 НОЯБРЯ 1960 г.
В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ СССР НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ,
ПОСВЯЩЕННОМ 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ТОЛСТОГО

Уважаемые гости, дорогие друзья, товарищи!

Полвека назад, в канун зимы 1910 года, у нас в стране произошло событие, которое глубоко взволновало современников. На исходе одной ненастной ночи писатель Лев Толстой ушел в неизвестность из своей яснополянской усадьбы. Кроме немногих доверенных лиц, никто в России не знал ни адреса, ни истинной причины, заставившей его покинуть насиженное гнездо.

Четырехдневное скитание, порой под проливным дождем, приводит великого старца на безвестный полустанок. Болезнь, чужая койка, огласка... и вот приезжие деятели, духовенство, мужики, «синаматографисты», жандармы толпятся поодаль бревенчатого строения. Там, за стеной, один на один со смертью Лев Толстой. Все торопятся делать, что им положено в беде. Старец Варсонофий рвется вовнутрь благословить отлученного от церкви мыслителя до его отхода в дальний невозвратный путь; из Москвы поездом № 3 Рязано-Уральской железной дороги срочным грузом высылаются в Астапово для больного писателя шесть пудов лекарств. Смятение отринутых им церкви и цивилизации. Затем роковая ночь, черная мгла в окнах. Морфий, камфара, кислород. Последний глоток воды, в дорогу. Без четверти шесть Гольденвейзер прошепчет в форточку печальную весть, которая к рассвету obeжит мир. Закатилось...

Европа плет словесные венки на могилу гения. В одну строку с Гомером, Лютером и Буддой. А в Ясной Поляне белесая пасмурная тишина. Мерзлая комковатая дорога под можжевельником, сотня стражников перемещается у ворот, вокруг с непокрытой головой Россия. «Несут, несут...» Могила смыкает свое объятие. К потемкам на бугре посреди девяти молодых дубков вырастает холмик, который сближает самые несхожие биографии... Тогда стоял ноябрь, самый сумеречный месяц, пожалуй, наиболее сумрачного в России года, считая с начала века. День шел на убыль, круче примораживало, но передовая русская мысль уже провидела рассвет в этом подобии ночи.

Так бывает на бору после паденья хвойного великана: длинный гул стелется по земле и потом — листва, птица, самые пилы затихают на время. Лес становится ниже, человечество победней. Длительностью наступившего безмолвия мерится значение ушедшего для остающихся. Моему поколению дважды, четырнадцать и двадцать шесть лет спустя, довелось испытать эту скорбь одиночества, которая, как любое всенародное событие, делает родину тесным домом под единой кровлей. Наличие подобных людей на капитанском мостике национальной мысли внушает современникам доверие к настоящему и бесстрашие к будущему. Роль Толстого в нашей общественной мысли неоднократно подчеркивалась русскими писателями. За десять лет перед смертью Толстого Чехов писал из Ялты: «...боюся смерти Толстого. Если бы он умер, у меня в жизни образовалось



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 19 НОЯБРЯ 1960 г. В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ СССР

бы большое пустое место... литература обратилась бы в беспастушное стадо». Двадцатью годами раньше об этом же думал Иван Тургенев и за два года до толстовской кончины Александр Блок. Смерть Толстого не только у передовой интеллигенции вызвала чувство сиротства, даже обезглавленности. Утрату Толстого ощутила и низовая Россия... Правда, в тогдашних условиях самые прославленные литературные творения шли в низы долгими окольными путями; зачастую простой народ составлял представление о живом писателе лишь по молве об его общественном поведении. А Толстой всю свою жизнь прожил на виду у народа, раскрываясь до тайников то под собственным именем, то под псевдонимом Оленина, Левина, Нехлюдова, — всегда идя против господствующих ветров и течений, борясь с несправедливым богатством, праздностью и насилием, с накопившимися уродствами одряхлевшей цивилизации. И так как долголетием была отмечена жизнь писателя, передовые умы из низов привыкли к утешной мысли, что неподкупное сердце бьется вблизи, зоркое око видит их каторжный труд и лишения, чуткое ухо слышит их стон и песню, и, значит, со временем все это отольется полноценной золотинкой в общую сокровищницу завтрашней преображенной земли.

Думы и вдохновения, преодоленные сомнения и надежды эпохи — и составляют золото литератур, живучесть которых целиком зависит от того, насколько они обеспечены историческим опытом современников, для таланта — казной всенародной, для гения — общечеловеческой. Все



В МОСКВЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ТОЛСТОГО

наши произведения, даже любимцев и баловней века, опускаются вместе с их создателями в могилу. Книги должны отлежать свой срок в земле, которая там, впотьмах, пока наверху шумит и ликует молодое, безжалостно сдирает с них кудри и румяна моды, шпаклевку накладного оптимизма, как это произошло с Марлинским, Кукольниковым, Озеровым, — им при жизни были выданы талоны на бессмертие... А то еще был в пушкинскую пору некий поэт Тимофеев, провозглашенный Сенковским за величайшего гения! Ему принадлежит неизгладимое сочинение под названием «Борода ль моя, бородушка!..». Словом, только чистому золоту дано выдержать испытание забвением.

В числе немногих произведения Толстого вовсе не подвергались этой пробе временем, как и Пушкина, которого повсеместно народ наш как бы усыновил навечно. «На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою». Бывают стихи, которые во всей национальной поэзии пишутся однажды — и потом века без износа служат потомкам камертоном для настройки лир. Оба этих человека занимают особое место в русском Пантеоне. Подобно тому, как Пушкин открыл нам волшебную музыку родной речи, Толстой с ее помощью беспримерно выразил заветные дела, радости и печали русских, в том числе их былинный поединок с многоязычной поднаполеоновской Европой! — а на их историческом образце показал столько раз проверенную с тех пор механику героического преображения в борьбе за правое дело — как наций, так и отдельных

мирных душ вообще. Все внятно автору «Войны и мира», «Казаков», «Анны Карениной» и «Воскресения» — бури и неощутимый ветерок, столь громадное, что не уместается в нормальном зрачке, и мнимые мелочи, ускользающие от рассеянного взгляда, полдневное величие и вечер человеческой личности. Кроме того, противоречивая и сложная биография Толстого помогла ему показать людское сердце в самых неожиданных сечениях, и, конечно, после Руссо никто еще не распахивал его читателю до такой степени настужь. Сегодня, с полувекового расстоянья, Толстой без всякого подсвечиванья виден нам во весь исполинский рост не только свершений, но и колебаний, крайностей и заблуждений своих, неминуемых для искателей правды, которая никому пока не попадалась в чистопородном виде.

Облик этого человека не уместается в рамки даже выдающихся литературных судеб. Подобно тому, как о Пушкине, по слову Белинского, стыдно говорить смиренной прозой, имя Толстого требует сегодня праздничного словесного обрамления. Имя это входит в список едва ли полной дюжины великих мастеров слова, начиная с античной колыбели культуры нашей. Самый труд его представляется нам поистине геркулесовым подвигом, — он весь, как гора на столбовой дороге прогресса, с высоты которой видна вековая, иссеченная тропами даль человеческой мысли. Все они там, от самого Фалеса — собеседники Толстого!.. И здесь мне полагалось бы остановиться на немеркнувшей пленительности толстовских образов, и в частности провести хрестоматийные параллели между Татьяной Лариной и Наташей Ростовой; сглаживая трудности духовных исканий Толстого, полагалось бы помянуть вскользь про его всепоглощающий пантеизм и одновременно подчеркнуть столь основательное у Толстого и несколько чрезмерно часто упоминаемое сегодня знание жизни, которое, по правде говоря, само собою вытекает не только из подразумевающейся писательской честности, но также и — профессиональной потребности нашего ремесла, то есть — проникновенье в жизнь, что иная его странничка кажется пригоршней неостылого житейского вещества, выхваченного из глубины тогдашней действительности. В связи с этим было бы важно еще раз раскрыть замечание Ленина о сильнейшей разоблачительной стороне толстовского творчества, которою является его «самый трезвый реализм, срыванье всех и всяческих масок».

Для нас, нынешних литераторов, полезно было бы также остановиться на поразительной точности толстовского мышления и — подгонки к нему толстовского языка, — порою узловатого и терпкого, включающего в себя целый вихрь произнесенных оценок и психологических интонаций, языка столь емкого, с таким гулким эхом, что позволяет читателю не только спускаться в глубь страницы по ступенькам строк, но и по прочтении книги долго бродить в ее волшебных окрестностях, — пусть иногда затрудненного толстовского языка, заставляющего, по отзыву Чехова, карабкаться на отвесные кручи словесных периодов, что всякий раз с избытком окупается открывающимся сверху кругозором. Не менее уместно было бы перечислить причины столь могучего оплодотворяющего влияния Толстого на европейские литературы и заодно показать на ряде блистательных примеров, как поэтические свершения писателя повлияли на наш национальный характер и как в его собственном творчестве проявились размах, упорство, глубина и другие качества русской натуры. Все это необходимо для понимания исключительного толстовского места в потоке мировой культуры, чем и объясняется такое множество книг о толстовской прозе как на русском, так и на иностранных языках.

Не меньше, главным образом за границей, написано и о прочих, гораздо реже раскрываемых нами томах Толстого. Причем некоторые заграничные исследователи преследуют довольно откровенную цель —

сделать Толстого провозвестником идей, которые, на наш взгляд, никак не вяжутся с истинными воззрениями писателя на современные ему законы общества и цивилизацию. Отчасти это случилось вследствие затянувшегося нашего невнимания к той части наследия писателя, которая находится за пределами его главной прозы. Мы сами как бы отдавали писателя на произвольное, зачастую недобросовестное истолкование его духовного искаательства. Некоторые обострившиеся обстоятельства нашего времени надоумили меня даже в моем кратчайшем раздумье о Толстом заняться как раз этой мнимо-второстепенной темой, потому что, как и главная толстовская проза, это тоже окна в большой, с анфиладами и галереями, душевный дом писателя, только окна без занавесок. Сюда так и просится название малой или учительной прозы Толстого. В отличие от основных его шедевров, каждый из которых точно прикреплен к определенным этапам российской действительности, эти чисто отвлеченные произведения не датированы никак. Сюда входят небольшие по размеру рассказы, исполненные в сдержанной форме чetyи-минейных легенд и преданий, местами с аскетическим отказом от авторского почерка, и всегда — образцы жанрового лаконизма и простоты. В щемяще-человечном говоре их слышится столь не свойственный Толстому голос странника, хлебнувшего из обманчивой чаши бытия и обретшего, наконец, покой от преходящих обольщений света. У всех бывалых народов найдется по бочонку такой живой воды, к которому и помимо кораблекрушений полезно иной раз прилгнуть пересохшими устами. Остается впечатление, что при помощи этих маленких, на один глоток, сказаний Толстой стремился утолить извечную человеческую жажду правды и тем самым начертать подобие религиозно-нравственного кодекса, способного разрешить все социальные, международные, семейные и прочие, на века вперед, невзгоды, скопившиеся в людском обиходе от длительного нарушения ими некоей божественной правды.

За минувшее столетие создалось определенное неписаное отношение к этим рассказам: наравне с пространной церковно-философской публицистикой Толстого они представляют для читателя менее интересную часть почти необъятного толстовского наследия. Вместе с тем, в плане обычной практики, многие из упомянутых произведений до такой степени годятся в расширенные эпиграфы к каким-то так и ненаписанным романам, что их можно считать зернами громадных, так и не проросших замыслов писателя. Литературный труд у подобных Толстому скорее суровое призвание, чем профессия, — как, впрочем, и будет оно обстоать у всех тружеников, когда они при коммунизме научатся творчески относиться к своей человеческой должности на земле. Книги таких авторов являются своеобразными отчетами о работе над своею гигантской личностью, — главы их духовной биографии. Насколько дано мне понимать, каждый большой художник, помимо своей главной темы, включаемой им в интеллектуальную повестку века, сам по себе является носителем личной, иногда безупречно спрятанной проблемы, сложный душевный узел которой он и развязывает на протяжении всего творческого пути. Мне представляется даже, что это у них бывает сплетено воедино, причем наличие одного непременно свидетельствует о присутствии другого, — так по кимберлитовым образованиям узнается месторождение алмазов. Подобно общеизвестной трагической проблеме Гоголя, существует проблема Толстого: в ней и лежит разгадка — от жизни или, напротив, к жизни уходил Толстой из дому за полторы недели до кончины...

Можно спорить, в какой степени правомерно столь вольное толкование ведущей толстовской темы. Но даже в ту, насквозь скорбную неделю, ровно полвека назад, пока еще не завяли цветы на свежей толстовской могиле, настолько расходились мнения современников о нем, что в один

и тот же день погребенья Гауптман провозгласил Толстого величайшим христианином, а Метерлинк — величайшим атеистом века: единственно правильное в обоих суждениях — эпитет. Тем более, на мой взгляд, потомук имеет право на самостоятельное понимание явления, предстоящего ему во весь рост без досадных подробностей и в полувековой дальности, — пусть даже на толкование запоздалое и, верно, столь же несовершенное!

Кроме мглистого утра в окне да шуршанья газетного листа с траурными сообщениями о смерти писателя, мне, десятилетнему мальчику, врезались в память тогдашние разговоры среди взрослых, пестрая многоголосица молвы о толстовском уходе, происходившая не из одной лишь обывательской любознательности. Все понимали, что этим актом завершается многолетнее и непонятное толстовское единоборство с самим собою, происходившее на глазах как у европейски мыслящего мира, так и прозревавшей низовой России. В той среде, где я рос, событие это живо обсуждалось как первостепенная общественная загадка; и одни присяжные чтецы газет видели в этом акте попытку мудреца избавиться от несправедливых излишеств своей среды, от стеснительных житейских обуз, — другие же толкователи, с уклоном в богословскую умственность, смотрели на уход Толстого, как на душеспасительное бегство от суетной и бесчестно сытой жизни к желанному покою наедине с душою, а возможно, и с богом. И те, и другие догадки выглядели вполне правдоподобно, в свете всегдашних толстовских настроений, кроме самого адреса толстовского ухода.

Вспоминаю свои путанные юношеские и чуть позднейшие недоумения по поводу учительной толстовской литературы. Прежде всего — что именно толкало этого сложного, своенравного, с мировым признанием художника, каждая строка которого тотчас по написании появлялась в десятках иностранных переводов, обратиться, казалось бы, к более доходчивому, как частенько полагают и в наши дни, а на деле к совершенно проигрышному, вследствие своей откровенной упрощенности, методу влияния на современников. Причина представлялась мне в том, что учительные рассказы Толстого, как и статьи этого раздела, писались, хотя и вперевивку с основными его произведениями, все же главным образом во второй половине творческой деятельности, когда уже редел такой дремучий вначале лес жизни и, в предвиденье художника пока, мглистая опушка заключительной неизвестности таинственно просвечивала впереди. Думается, здесь где-то периодически и зарождалось у Толстого содрогание перед заключительной неизбежностью, самую волю к жизни поглощающий «арзамасский страх», названный так по городу, где впервые случилось это. Собственно, уж близилось... а тяжеловесное перо художника никак не поспевало за работой жадной мысли, которая ищет всего коснуться, чтобы, осмыслив, обогатив высшим разуменьем, устремиться вперед, — которая «хочет налету засечь протекающие сквозь нас вещи в мгновение, чтобы определить свои координаты в потоке бытия, без чего можно так безнадежно заблудиться в этом слепительном и мглистом пространстве». Этими словами думалось мне в ту пору, приблизительно так же, только проще, думается и теперь. Истинное произведение искусства, произведение слова — в особенности, есть всегда изобретение по форме и открытие по содержанию, а на это требуется время. В отличие от тыквы, за один сезон достигающей похвальных результатов, произведение словесного искусства вырастает, как плодое дерево; подобно любви, оно начинается с робкого предчувствия, с семечка в душевной борозде. И потом надо долго питать его соками души, бережно холить молодую крону, однако — с безжалостной прорезкой загущений и в постоянной тревоге за урожай, столь ненадежный в нашем суровом континентальном климате... Словом, не потому ли Толстой со смиренным лукошком сеятеля выходил на ниву

народную, что торопился до заката опростать переполненный зерном кошель, пускай под снег, в непропаханную еще людскую целину.

Тем более торопился он, что уж и некогда становилось: зарницами надвигающейся грозы то и дело посверкивало небо страны. Приближалась всеобщая ломка старых устоев, — бесшумные, но такие сердитые гребешки все обильней вскипали на волне моря народного. С каждым годом ощутимей под ногою и в сознании толстовских современников происходили подвижки материковой, вчера еще — верилось — столь незыблемой в России почвы!.. Во второй половине девяностых годов бунтарское пламя с рабочих окраин перекидывается на российскую деревню. В литературных салонах шепотком поговаривают, что вот «идут мужики и несут топоры... Что-то страшное будет!». Первомученики революции чредою восходят на эшафот. Невежество, нищета и каторжный труд низов — все это тяжким грузом давит на совесть писателя. Еще в 65 году, накануне очередной российской голодухи, Толстой глухо роняет в одном письме к Фету — дескать, в случае чего, «и нам достанется!». Нам — то есть правящим сословиям и церкви!.. Тот же жуткий предвестный холодок будущего не менее остро ощущал и другой, чуть постарше, сверстник Толстого по классической литературе русской, у которого страх перед грядущим так явственно отразился в одном не худшем его романе. Достоевский мучился страхом — что же станет с человеческой душою, если древние своды всемирного христианства рухнут на цивилизацию, которая за две тысячи лет так прочно и плодотворно обосновалась под ними. В то же самое время Толстой, подобно библейскому Самсону, в конечном счете — на самого себя, на собственный свой сословный мир! — стремился раздвинуть стеснительные ему, подернутые сеткой исторического склероза колонны. Он острее своего великого современника чувствовал неотложность общественной перестройки, в первую очередь — для пресыщенного привилегированного сословия, к которому принадлежал, а не только для трудового люда, который, по Толстому, и есть истинные дрожжи жизни и который во всех религиях служит почему-то главным объектом опеки и воспитания. Жить по-старому становилось все трудней Толстому, занятие это мнилось ему все горше и бесчестней. «Куда ни выйду — стыд и страдание!» — вырывается однажды, как брызга, из-под его пера. А вот он на верховой прогулке проезжает мимо сутулых, безличных, под слоем придорожной пыли, мужиков. Они бытуют камень на обочине... «Словно сквозь строй прогнали!», — по привычке, кровью сердца, записывает про себя Толстой в дневнике. Поразительно вообще, до какой степени сильно и ежемгновенно этот великий человек чувствует на себе пристальное... нет, даже в лютых бедах не заплаканное, лишь прищуренное око народное, око нищего младшего брата, в котором сквозь подавленную гневную усмешку теплится недоверчивое удивление перед человеческой черствостью. Можно живо представить, с каким презрительным вниманием люди Черной Африки смотрят сегодня на старших, сияющих светом христианского гуманизма, белых братьев, которые, нагостившись досыта, не желают убираться восвояси из их скорбных хижин.

Работа осмысления жизни началась у Толстого еще в юности — с раздумий о себе, с попыток самоограничения, с тех общих запросов бытия, на которые умному бессильны ответить самые осведомленные и самонадеянные науки. Даже в годы шумной молодости под радужной пленкой светских удовольствий, не затухая ни на миг, бродит у него, тлеет эта искорка негодованья на себя за телесные и нравственные слабости. В пятнадцать лет мальчик Толстой назовет себя учеником Руссо, и эта робкая вначале искра самоанализа в полную силу разгорится в зрелые годы, когда писатель вслед за великим энциклопедистом, на не меньшем уровне человековедения создаст еще одну «Исповедь» — пристрастный, третьей

степени допрос самого себя, пожалуй — беспощадней, чем у Августина, изобретателя этого редкого литературного жанра. Можно приблизительно датировать начало перелома от мечты к ее практическому осуществленью: когда и без того недолгое левинское счастье впервые омрачилось думой о месте человека в жизни, и снова просветлело лишь к концу романа от спасительного прикосновения к патриархальной земледельческой идиллии. Тезисом Левина становится — «дать возможность миллионам понять одни и те же истины, чтобы по ним создать жизнь души, единственную, ради которой стоит жить». Это все одно, как клятва себе — любой ценою уяснить смысл бытия; к своему заданию Толстой и Левин приступают с решимостью горько и больно наказать себя, самовольным отнятием дара жизни покарать себя в случае неумения отыскать ей достойное применение. И так властно охватила Толстого эта одержимость — обрести истину для всех ближних на земле, так сильна стала уверенность в правильности избранного направления, что в тридцать семь лет в той же заветной тетради Толстой задумывается о создании новой, «соответствующей развитию человека» религии. Возможно, даже одного этого порыва и хватило бы гиганту на выполнение своего обета — кабы пораньше, в условиях, скажем, натурального хозяйства, когда иные пророки — единственно огнем проповеди, бичом строгости, наглядным примером успешно добивались известного душевного и материального благополучия своей кочевой паствы... Отныне бродившая в глубинах искра прожигает бумагу под пером художника и пробивается пламенем наружу. Образуется так называемое вероучение Толстого.

Бросается в глаза смутительное родство эпилогов в творческих биографиях Гоголя и Толстого. Оба к концу жизни предались неистовству христианства в ущерб основной поэтической стихии, обоих пытались вернуть к их прерванной песне, у обоих образовались менее — или вовсе не читаемые тома, оба жгли написанное ими в лучшую пору: один — вещественно, в печурке на Никитском бульваре, другой — жгучим пламенем хулы на себя в «Исповеди», когда называл свои шедевры корыстным бездельем или напрасным умствованием. И, наконец, у обоих эта деятельность вызвала почти одинаково резкое осуждение со стороны передовых умов своего времени. К слову, Толстой высоко, по пятибалльной системе оценил некоторые места из гоголевской «Переписки с друзьями». Однако, при внешнем сходстве этих духовно-философских поисков, вообще свойственных большой русской литературе, совсем несхожий огонь сжигал обоих. Трагическое письмо Гоголя к черному священнику Матвею бросает свет на клинику сожженья «Мертвых душ», на снедавший Гоголя, не только литературный, недуг. Тем разительней, на мой взгляд, отличие этого полудночного каминного пламени от полдневного толстовского костра, не помещавшего ему в конце жизни создать столь блистательное «Воскресение»... Впрочем, профессиональный литератор отыщет во второй части этого романа как бы зачерненные места, где этот пламень совести и гнева лизал толстовское вдохновение в ущерб живому изобретательному чувству. И если Гоголь во мглу и схиму уходил от людей, Толстого всю жизнь влекло к вечному празднику созидательной радости, в разлив простонародной стихии.

Понятно, какая трудная, просто опасная задача — в беглом очерке рассудить проблему великого, за полвека непревзойденного писателя. Почти всякая попытка окинуть взором явление подобного масштаба рисует скорее тихие возможности самого толкователя с его скромным инструментарием, нежели возвышенный объект предпринятых рассуждений. В сущности оно и не надо бы!.. Но именно толстовское творчество породило в мире не затухшие пока идейные разномыслия, выходящие далеко за границу чистого литературоведения. Не только у нас отмечается сегодня



ТОЛСТОЙ В СВОЕМ КАБИНЕТЕ

Пастель В. Н. Мешкова, 1910 г.

Над подписью художника рукой Толстого: «Лев Толстой, Ясная Поляна 1910, 17 марта»
Музей Толстого, Москва

память Толстого, и, может быть, в этот самый час где-то и чей-то озлобленный ум постарается набором подобранных толстовских цитат нанести моральный урон нашей родине, к которой Лев Толстой всей своею сущностью принадлежал и которую так возвеличил. Наверно, нападки эти последуют именно с позиций так называемого толстовского христианства, развитой Толстым евангельской строки о непротивлении злу насиліем, которая сблизила толстовский гуманизм с гораздо более древним нравственным кодексом, зародившимся в одной благословенной стране вечно-го лета, вдалеке от наших северных стуж и напествий, под защитой высочайшей горной стены мира... С таким же осуждением будут помянуты, конечно, и неминуемые этапы, через которые в этом грешном запятнанном мире проходила социалистическая революция, без которой, кстати, такая пестрая сегодня, радужно-веселая карта колониальных Азии и Африки донныне была бы покрашена в два-три унылых европейских тона. Ни в одном из упомянутых почтенных источников не указано, однако, как и чем следует живым защищать свои гнезда и детишек от столь неутомимого злодейства, от вчерашнего дня, который, судя по всему, не прочь бы зверски хлопнуть дверью, навсегда покидая планету. В этих условиях держаться непротивления можно только в случае, если кто-то другой, большой и отважный друг, примет на себя грех и подвиг сопротивления всемирному злу во имя всех униженных и угнетенных на свете.

Признаться, странное же было у писателя Льва Николаевича Толстого христианство, обряды которого он отвергнул в семнадцать лет, — сомнительное христианство Толстого, от которого официально церковь вынуждена защищаться отлучением, то есть публичным проклятием с амвонов страны, что, хоть и полечче лишения гражданской чести на эшафоте, под барабанный бой и через палача, все же не могло не влиять на самочувствие графа Толстого в привычной ему среде, ставило его в затрудненные отношения с любезным его сердцу патриархальным крестьянством. Вера Толстого вела не в отшельнический затвор, не в пустыню эгоистического уединения от суетной житейской толкотни, а, наоборот, к деятельности на пользу ближних, во имя добра и мира, к простым людям — в том исчерпывающем сближении, к которому тянется всякая крупная, общественно-мыслящая личность. Стоит лишь прочесть текст синодского отлучения 22 февраля 1901 года с перечислением толстовских ересей, за каждую из которых три века назад запросто сжигали на площадях Европы... Остается искать другое обозначение духовным исканиям Толстого, которые, по слову Ленина, завершались стремлением «сместить до основания и казенную церковь, и помещиков, и помещичье правительство, уничтожить все старые формы и распорядки землевладения, расчистить землю, создать на место полицейски-классового государства общежитие свободных и равноправных мелких крестьян».

Нет, это не бдения аскета, терзаемого ночными видениями в духе некрасовского дяди Власа, без чего, верно, не обошлось у Гоголя, а прямой бунт — против церковных ветоши и волхвований, — окрашенный буславским озорством бунт ничему не подвластной силушки, которую столь зорко в Толстом подметил Горький. «В прельщены гордого ума», как говорилось в тексте отлученья, Толстой расшатывал догматические устои религии. Надо помнить, что, как все религиозного типа сообщества, церковь еще на пороге храма требует от верующего полного отказа от самостоятельного мышления, то есть от собственной личности вообще, и с этой исключительно целью ведет его через испытательные лабиринты темных иррациональных догматов. Разуму тут неминуемо приходится потесниться, и лучшим выражением такой смятенной капитуляции служит иступленное, с пеной на губах вырвавшееся у Тертуллиана знаменитое латинское восклицанье о своей фанатической вере пусть даже в

бессмыслицу, то есть о готовности во имя Провидения ринуться даже во тьму безумья... Римскому богослову противостоят ясные слова Толстого: «Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить».

В изложении так называемой толстовской веры нигде не найти ни положенных ей богословских рассуждений о таинственных качествах надмирного существа, ни попыток с помощью мистической алгебры вписать его в космос, как это практиковалось у отцов церкви. Вся проповедь Толстого родится из намерения совместными людскими усилиями утвердить честную, беззакатную радость в опустошенной напрасным и совсем необязательным страданьем душе человека. Любому слову в философской терминологии Толстого, вплоть до столь далекого, казалось бы, от нашей современности царства божьего, найдется надежный синоним и в нынешнем гуманистическом словаре. Так, бессмертие в письме к англичанину Кемпбеллу трактуется Толстым чуть ли не как вечная признательность живых за оказанные им благоденья. При этом обязательность добрых дел Толстой выводит не из ужаса перед каноническим загробным возмездием, а из естественного и осуществимого права каждого смертного на свою долю счастья... Разногласия возникнут позже — в отношении дороги к его осуществлению! Корень их лежит в разности воззрений — бытие ли определяет сознание или наоборот... Но ведь на протяжении тысячелетий небо над людьми и просторы вод океанских у их приножия были так прозрачны и громадны, что каждый по собственному складу и росту находил там свое отражение. Не состоит ли весь путь философии как раз в непрестанной полемике — откуда же берется в нас этот священный пламень жизни и мысли? Добывает ли его человек посредством трения деревяшек, рождается ли с ним, предвечно зажженным в душе, или бедняге приходится всякий раз похищать его у богов?

Итак, он был вполне сыном Земли, Лев Толстой, упорный труженик и гордец, который в полную нагрузку принял на свои плечи добровольное и пленительное бремя борьбы и тревоги за людей; и не следует считать зазорным недостаток, если подобные Толстому, при своем росте, не в меру часто достают головою небо. По его собственным словам, он принадлежал к тем людям, которые «может быть, и рады были бы не мыслить и не выражать того, что заложено им в душу, но не могут не делать этого, к чему влекут их две непреодолимые силы: внутренняя потребность и требование людей». Великий художник, он в то же время был ненасытного жизнелюбия человек, который в пятьдесят лет уселся за изучение древних языков ради ознакомления с первоисточниками общеизвестных истин. Всякий звук жизни вызывал гулкое эхо в его душе, ничто не ускользало от его нетерпеливого и деятельного внимания — философия истории, сословная архитектура государства, задачи педагогики и воспитания, смертная казнь, голод в Поволжье, деньги и землевладение в России, духоборческая эпопея, вопросы веротерпимости, бессмертия, любви и воли. Игрой политической оказии подвернувшийся в 94 году обменный визит русских и французских моряков вызывает у Толстого обобщенный саркастический отклик на целых три печатных листа. Все касается гения в его эпохе, всякое явление стремится он уложить в логический и моральный чертеж, чтобы высказать ему приговор или оправдание. Он пашет землю, кладет печи и шьет сапоги для высшего познания через мускульное ощущение, которое для писателя неизмеримо важнее знания книжного, а тем более понаслышке. Даже во внешнем облике его сквозят знакомые и вечные черты другого, столь же ненасытного исследователя жизни Леонардо, который вот так же шествовал по своей эпохе, вызывая завихрение творческой мысли вокруг себя. Нападавший временами на Толстого пресловутый арзамасский страх происходил от вполне земного, телесного протеста

против безжалостного средства, которым пользуется природа для смы-
вания ею же начертанных чудесных писем и видений — ради все новых,
наплывающих из звездной пучины, — протеста против смерти, мысль о
которой так любит навещать людей отменного душевного здоровья, за-
частую в полдневном блеске бытия. Невольно вспоминаются соответствен-
ные страницы «Смерти Ивана Ильича»: как нужно было любить жизнь,
чтобы так написать смерть! Думается, такое же гнетущее, на пределе
творческой зоркости возникшее предвиденье — даже не мрака могилы,
а бессмысленности предстоящего уничтожения, от которого ни хитрость,
ни власть, ни деньги, ни крепостные стены не могут уберечь, — этой ко-
щунственной бездеятельности ума и рук, разлуки с ненаглядными при-
зраками и обольщениями земли, толкнуло Горького написать «Егора
Булычева»... Вот так же страшно одинокой капле воды забираться в ледя-
ное поднебесье, скитаться по голубой пустоте, падать, теряться и про-
падать во тьме присподних глубин... пока однажды не осознает себя по-
сланницей вечного материнского моря. И от этой проясневшей животворя-
щей связи, от соседства со множеством таких же, туда же несущихся в
пространстве сестер, вдруг раскрывается смысл неповторимой, отпущен-
ной нам, веселой радости — грозно шуметь на гребне штормовой волны,
сверкать в радуге, журчать в ручье весеннем и вместе с июльским пролив-
нем разбиваться об иссохшую ниву!

Еще за двадцать восемь лет до кончины, разочарованный в строе
окружающей жизни, Толстой определил высшее удовлетворение бытия не
в барском безделье, развлечениях или даже книгах, а в безраздельном
слиянии с миллионами капель людского моря, в данном случае — кре-
стьянского. Давняя у Толстого идеализация земледельческого уклада
и горчайшее, за каждый сладкий съеденный кусок, никогда не покидавшее
его чувство дворянской вины перед нищим, ограбленным народом служи-
ли тому питательной средой. Надо учесть, что все тогдашнее крестьянство,
пока «укладывалась развороченная реформой действительность», страдало
от земельного и прочих неустройств... То была почти безоговорочная сим-
патия писателя к русскому крестьянину, даже с каким-то слепым обоже-
ствлением их бытовой скудости без развратительного избытка, почти
с завистью к безграмотности, к их добротному невежеству, как будто в
этом прибежище нетерпеливого ума, как будто есть хоть щель на земле,
где не происходило бы сомнений, расслоения и затем вечной схватки про-
тивоположностей, гарантирующих гармоничное развитие всего живого...
Не в том ли благо, по Толстому, чтобы уйти от нечистой, пороками запят-
нанной цивилизации в гущу народную, в ничем не возмутимую природу,
ближе прильнуть к ее вечной груди, где в условиях стерильной детской
чистоты и должны возникнуть образ жизни и погода человеческой истории.
Всюду в толстовских произведениях симпатии автора на стороне народ-
ной массы — вспомнить только самочувствие Оленина и Нехлюдова в ран-
них вещах или авторское отношение к Герасиму и Акиму в поздних...
Мудрец Каратаев всего лишь солдат, и Пьеру Безухову больше всего
хочется быть солдатом, просто солдатом. И если уже никому не ведомый
автор пятисотлетней давности Петр Хельчицкий написал книгу, по сло-
вам Толстого, «умную, сердечную, сильную и до наивности ясную», — зна-
чит, он был также земледельцем! Чуть заходит речь о блаженстве и по-
кое на земле, тотчас между строк слышится знакомый мотив нравствен-
ного совершенства, самоограничения в потребностях и еще — что только
посоленный трудовым потом хлеб способен утолить терзающий нас ду-
шевный голод! Невольно вспоминается, видимо за аскетическое опро-
щенье полюболившийся Толстому афоризм Григория Сковороды — «бла-
годарение богу, что все нужное — нетрудно, а все трудное — не нужно».
И даже на смертном ложе в астаповской каморке, когда все житейские

привязанности, спутники жизни, также избранная им котомка странника — все осталось позади, с мертвенных губ Толстого срывается последняя зарегистрированная газетной хроникой, пронзительной тоски полная фраза Толстого — «нет, мужики так не умирают!». И в этом предсмертном, сквозь зубы, сожалении выражена вся житейская философия Толстого — строить жизнь так, чтобы уходить из нее безболезненно, как все они, эти не мудрствующие счастливицы — деревья, птицы и труженики земли: без лжи, без боязни, без оглядки, без жалобы, без попреков совести. Отсюда — несколько в ином свете предстает уход Толстого из дому в ту глухую предзимнюю ночь.

Пусть истлевшая бумага и память еще хранят тягостные подробности последних лет его яснополянского существования, но нет, не в семейных недоразумениях дело и не в несчастной писательской жене, которая с уймой детей на руках сама столько раз, для нас с вами, переписывала вновь и вновь исчерканные толстовские рукописи. И ведь правда, нам всегда хотелось, как досадный летучий сор, отстранить все это рукой, чтоб не заслоняло, не мешало взглянуться в дорогое нам лицо Толстого! Вообще, не пора ли кончать с пигмейской привычкой запускать нос и руку в телесные подробности наших исполинов, — доселе попадаетеся нам дежурный репортаж из-под кровати Пушкина!.. Как хорошо, что с полувекового расстоянья ничтожное растворяется в голубой дымке, и Толстой, подобно снежной вершине, предстает нам в веренице горных пиков, этой галерее бессмертных, которая, сколько бы ни продвигались мы вперед и вперед, вечно будет сиять на горизонте человеческой культуры... Уход Толстого поэтому выглядит как запоздалое освобождение, когда, порвав истончившиеся путы, он осуществил старинное намерение раствориться в своей бесхитростной России, и, тем самым, в рядовую былинку запрятать свою непомерно-огромную, ему самому непосильную личность.

Все здесь сказанное вовсе не означает, что пустовало небо Толстого или что лишь мужики с сохами да земная юдоль отражались в нем. Воспоминания Горького как раз начинаются свидетельством, что — «мысль, которая заметно, чаще других точит его, Толстого, сердце, — мысль о боге». И дальше — важная, хотя столь субъективно окрашенная горьковская поправка: «иногда кажется, что это и не мысль, а напряженное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою». Силе этого яростного и беспрестанного богоборства соответствовала и толстовская одержимость — ее имело у него вполне достаточно для основания новой религии, о чем он помышлял однажды на странице дневника. Более чем полувековая, ничем не сломленная обличительная деятельность Толстого роднит его даже с пророками древности, которые вот так же, единственно с заступом веры и воли выходили перекапывать человеческую целину, изменять географию континентов. Скажут, то были времена попроще... Но в таком случае вспомним обильные толстовские рассуждения о войнах, праздности, богатстве, даже о прибавочной стоимости — столь современные, что как бы невысохшие чернила блестят в строке. А чего стоит вступление к одной статье 96 года, где, словами самого Толстого, прокламируется безоговорочное уничтожение строя капиталистического с заменой его коммунистическим. С другой стороны, стоит припомнить — как объятый пламенем разум Толстого отменял Данте, Рафаэля и Шекспира! Или — как собственная совесть, достаточно разъяренная, чтобы парализовать руку гения, упрекала его же в корыстолюбивом вымогательстве хлеба народного с помощью написанных им книг. Или его готовность даже остановить прогресс во всем разбеге — «пусть погибнет культура, но торжествует справедливость» и рядом — «чем больше мы отдаемся красоте, тем больше удаляемся от добра», где красота выставлена прямой пособницей и маской зла. От подобной стерилизации мира огнем недалеко

и до костра Савонаролы! С такой решимостью немало можно жарких дел наделать по части исправления земного шара!

Тогда чего же недоставало ему, столь решительно замахнувшемуся на обреченный мир, Толстому?.. Чего недоставало ему — голоса, огня, пророческого рубища, чтобы возглавить возрождение обнищавшего человечества, прополоть заросшую сорняками людскую ниву?.. и — если не основать новую религию, то хотя бы занять заслуженное место в утверждении новизны, которая уже в ту пору стояла у ворот мира и семь лет спустя после толстовской кончины ворвалась в него на штыках русских рабочих и солдат? Всегда бывали у людей мечтанья, слишком объемные и глубинные для осуществления в одиночку, — так почему же не апостолы, не пламенные ученики, а лишь рассеянные по свету сектанты остались после Толстого, вроде тогдашних штундистов или молокан? Не в том ли разгадка, что задуманное преобразование жизни Толстой пытался произвести через провозглашение всепрощающей надмирной доброты, которую, к слову, христианские иерархи за два тысячелетия так неосмотрительно приспособили к удобствам знатных и богатых. Опять же евангельское речение повелевает, в первую очередь, заняться душевным устроением — «остальное приложится вам!». Но вся родословная людских страданий показывает, что, кроме небесного сияния в душах, ужасно как много требуется людям даже для сносного существования — хотя бы и не на столь высоком уровне, который у Толстого обозначен термином царства божьего.

Список людских нужд, скрытый в евангельской рубрике — *остальное*, открывается хлебом насущным. Так чем же накормить семью и прочее человечество, которого к исходу столетия накопится шесть миллиардов едоков? Со времен Нагорной проповеди еще не удавалось повторить евангельский опыт насыщения пятью хлебами несоответственно большего количества ртов. Видно, благочестивой Марии никак не обойтись без земной хлопотуньи Марфы! А там чередую, чем дальше — тем грозней, встают смежные вопросы: как обеспечить всех одеждой и, в нашем климате, теплым жильем, — как во вселенском масштабе наладить товарный обмен веществ, из которых делаются стихи, рельсы, телескопы и всякий ребячий инвентарь, — и как отбиться от безумных кровопролитий и испепеляющих термоядерных бурь — чтобы матери не сходили с ума от тревог за будущее своих малюток?.. И как усовестить иных деятелей, настолько закосневших в классовой алчности, что даже два подряд, с промежутком в двадцать лет, всемирных столкновения не могут образумить их, — и, наконец, чем остановить лавину «холодной войны» на краю кратера, куда все чаще заглядывает человечество с закушенными до крови губами? Видимо, требуется какое-то средство посложней евангельской цитаты, чтобы защититься, вырвать у ада наши — смену и достояние, все то, что по праву принадлежит уже наступившей новизне.

В своих народно-учительных рассказах Толстой ставит на рассмотрение не частные, семейные, скажем, проблемы, не такие уж неотложные, как — искусства или даже воспитания, а первоочередное назначение прогресса — универсальное людское благо. Это дает нам право на один прямой вопрос, который пусть останется без ответа!.. А что если бы Лев Толстой, взыскательный и до скрупулезных мелочей обстоятельный художник, вздумал переселить бесконечно-праведное население этой малой прозы — старцев, отроков, странников и приветливых молодяек — в плоть и кровь своей же большой прозы, то есть перевести их из умозрительного четьи-минейного существования на реальную почву тогдашней российской действительности, оделив их всем необходимым для полнокровной житейской радости — то есть надежно защитив их от бедствий войны, голода и безработицы, классовой дискриминации, экономического парази-

тизма и прочих бед существования, то не пришлось ли бы автору пойти на утверждение некоторых неизбежных социальных предпосылок и мероприятий, способных правдоподобно обеспечить благополучие его героев? Как раз пренебрежение этими мнимыми мелочами и влечет за собою потрясения всемирных катастроф, оставляющих позади себя курганы братских могильников и бедные, вонючие руины. И если бы великий художник слова решился на этот гениальный, логически подготовленный пересмотр, еще не известно — в какой другой точке он вышел бы на столбовую дорогу тогдашней передовой мысли... Словом, Толстому оставался только шаг, но правда, через какую же бездонную пропасть!

Для этого требовались другие средства и решимость несоизмеримо большая, чем только порвать сословную паутину. Легче обрушить гневную мысль на отвлеченный порок, чем голыми руками и в непогоду взяться за перекладку материальных основ бытия, вступив на путь, которым шел Владимир Ильич Ленин. Совсем иная сортовая сталь идет на резцы — для ваяния поэтического образа или новых общественных форм, и в этом мне видится отличие деятельности великого поэта от великого вождя. Толстой в первую очередь был художником, и предсмертный призыв Тургенева вернуться на магистральную дорогу показывает, что думали о религиозном реформаторстве Толстого лучшие люди его века.

Творческая лаборатория Толстого раскрывает нам поучительный опыт поистине великанских — как свершений, так и заблуждений, увидевших его порою от эмоциональной пушкинской традиции к рационалистической проповеди, тем уже опасной для художника, что она схоластическим умозрением подменяет критическое наблюдение действительности. И на эту проповедь была истрачена половина жизни поразительного художника, который повелением пера внушает читателю любое из спектра человеческих чувств — всегда с оттенком наивного, как при чуде, удивления, — оно неслышно преобразует человеческую душу, делая ее стойче, отзывчивей, непримиримей к злу. Не за то ли благодарны мы Толстому, что он дал нам силу и право презирать и отвергать Каренина; вместе с Наташей волноваться у постели раненого жениха; плакать от гордого восхищения перед подвигом Тушинской батареи; возмущаться фальшью и преступным равнодушием сословного судилища над Масловой, их же безвинной жертвой; вместе с Левиным жадно испытать сладкой усталости в знаменитой сцене покоса; навечно и благодарно запомнить зрительное и нравственное потрясение от той, на пределе мастерства исполненной разоблачительной встречи простертого на Аустерлицком поле Болконского со своим кумиром, осуществляющим истребление жизни? Все эти сцены наполнены трепетом подлинной жизни, и не этого ли глубинного проникновения в человеческую душу, продиктованного уважением к всегда неповторимой человеческой личности, так недостает подчас нынешней литературе?.. К какому же методу, из испробованных Толстым, надлежит обращаться современному художнику слова для скорейшего и надежного воздействия на читательское сердце; каким плугом и на какую глубину выгоднее поднимать слежавшийся душевный пласт, чтобы не обесплодить его еще до засева зерном под завтрашний урожай?

Кресло Толстого стоит пустое. В мировой литературе, в нашей нынешней также, некому пока сравниться с Толстым. Может быть, не в том и была наша задача, чтобы немедленно и до конца изъяснить открывающуюся новь, наполненную вспышками молний, содроганиями тверди, грохотом исполинской ломки. Порой бумага тлела в наших руках! Не в том ли заключалась обязанность наша, чтобы пронести пламя отечественной литературы сквозь бурю величайшего преобразования, довести до сведения потомков — как же свершалось все это. Еще не одно поколение литераторов впереди займется изображением баснословных дней

и подвигов минувшего полувека, после которого иначе стали выглядеть людские души и поверхность этой страны.

На смену нам придут замечательные творцы слова, и один из них объединит в своем сердце предания молвы народной, новую, социалистическую человечность, материальные завоевания обновленной цивилизации, и это даст ему силу подняться в толстовскую высь, откуда видна будет с полета исправленная и дополненная карта мира и еще — как прожитая нами трудная эпоха вписывается в большой поток человечества.

В нашей литературе ясно различима черта, до которой нет Толстого и после которой все в нашей духовной жизни содержит следа творческой мысли. Как бы ни были богаты наши деда, создавшие нам историю и язык, заложившие основу материального бытия, мы богаче их: во всех нас есть хоть по крупинке от Толстого. Вот пример взаимодействия Родины и Гения, который посредством врученного ему дара прославил ее всемирно и через это сам стал Львом Толстым, которого ныне славит мир!